



РЕЦЕНЗИИ

Roger Strange, Jim Slater, Corrado Molteni (eds.), *The European Union and ASEAN: Trade and Investment Issues*. MacMillan Press Ltd, London 2000, p. 250.

Европейский Союз (ЕС) только в девяностые годы стал замечать все большее значение региона Восточной Азии в мировой экономике. Этот регион уже раньше проявлял большую динамику экономического развития, но из трех членов т. н. триады (Соединенные Штаты, Евросоюз, Япония) Евросоюз менее всего занимался этим регионом. С целью исправления сложившейся ситуации в 1994 году был объявлен документ *Towards a New Asia Strategy*, в котором была сформулирована политика ЕС, ставящая перед собой задачу развития отношений (особенно экономических) со странами Восточной Азии. Государства, которые некогда были колониями Голландии, Франции и Великобритании, объединенные в *Association of South East Asian Nations* (АСЕАН), представляются наиболее подходящим местом для интенсификации присутствия ЕС в регионе, а также укрепления политического и экономического сотрудничества с государствами Северо-Восточной Азии (Китаем, Японией, Южной Кореей) или даже со странами региона Азии и Тихого океана, входящими в АРЭС (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) (С. 9).

Книга *The European Union and ASEAN: Trade and Investment Issues* затрагивает ряд важных вопросов, касающихся экономического сотрудничества ЕС-АСЕАН. Значительная часть глав была представлена на конференции, посвященной взаимоотношениям ЕС - АСЕАН, которую организовал *Universita Commerciale Luigi Bocconi* в апреле 1998 года в Комо, остальные были написаны с целью публикации в обсуждаемой книге. В зависимости от рассматриваемой тематики главы разделены на четыре части.

Первая часть (*The Macroeconomic Picture*) посвящена торговле и прямым инвестициям, то есть макроэкономическим аспектам экономического сотрудничества ЕС – АСЕАН

В первой главе – *Bridging Two Continents: EU-ASEAN Trade and Investment* – Роберт С. Хайнс (Robert C. Hines) дает подробный анализ торговли между ЕС и АСЕАН, снабженный подсчетами, результаты которых представлены в нескольких таблицах. Интерпретируя полученные результаты, автор доказывает, что вместе с индустриализацией Юго-Восточной Азии в торговле с ЕС все большую роль начала играть торговля внутри отдельных отраслей. Правда, товары азиатского происхождения по своему качеству хуже, чем производимые в ЕС, однако их импорт мотивирует действия по защите производителей в ЕС. Интересно наблюдение автора, который усматривает определенные противоречия в политике ЕС, который хотя и изъявляет желание оказать помощь в экономическом развитии странам, имеющим относительно низкий доход, открывая им доступ к рынку ЕС, но в то же время защищает свой рынок от импорта изделий, в производстве которых перевес находится на стороне развивающихся стран. Применение антидемпинговых процедур – это наиболее часто используемый в ЕС метод защиты внутреннего рынка перед товарами из Юго-Восточной Азии. Как отмечает Хайнс, в 1992-1996 гг. Таиланд занимал второе, а Малайзия и Индонезия четвертое место в отношении использованных ЕС антидемпинговых процедур (С. 16-17). Поэтому автор справедливо замечает, что мост, соединяющий ЕС и АСЕАН, уже не расширяется, а блокируется (С. 9).

Во второй главе этой части книги – *Foreign Direct Investment in ASEAN: an Historical Perspective* – Энтони Бенде-Набенде (Anthony Bende-Nabende) анализирует приток иностранных непосредственных инвестиций (*Foreign Direct Investment* – FDI) в пяти крупнейших странах АСЕАН, начиная с колониального периода до девяностых годов XX века. Типы инвестиций изменялись по мере индустриализации: от FDI в эксплуатацию природных ресурсов в колониальный период, через FDI в производство, составляющее субститут импорта, по инвестиции, ориентированные на экспортную продукцию. Автор пытается определить причины перемен в стратегии индустриализации, сравнивает пять стран АСЕАН с точки зрения секторов, в которых были осуществлены крупнейшие инвестиции, а также анализирует изменения в участии

крупнейших стран в FDI в регионе в течение описываемого периода. По мнению автора, либерализацией трансферта капитала в Юго-Восточной Азии больше всего воспользовались предприятия из Японии, а также из новых индустриальных государств (*Newly Industrialized Economies* – NIEs), которые, используя тот перевес, какой дает им локализация (разница в оплате труда, квалификации работников, доступности технологии и пр.), начали создавать сеть производственных связей в регионе. Затрагивая вопрос производственно-финансовой обусловленности экономики стран этого региона, Бенде-Набенде обращает тем самым внимание на одну из важнейших причин резкого распространения азиатского кризиса – из Таиланда на остальные страны региона.

Несколько иной подход к тематике FDI в странах АСЕАН представлен в главе *Foreign Direct Investment in ASEAN: a Contemporary Perspective*. Анализ факторов притока FDI основан на результатах исследований, проведенных среди транснациональных корпораций, ведущих хозяйственную деятельность в регионе, что является большим достоинством этой главы. Мы узнаем не только о том, какова иерархия мотивировки инвестиций в странах АСЕАН, но и то, какие изменения в этой иерархии произошли после азиатского кризиса. Авторы Хафиз Мирза, Аксель Жиру, Фрэнк Бартелс, Ки Хви Уи (Hafiz Mirza, Axele Giroud, Frank Bartels, Kee Hwee Wee) совершенно справедливо шансы на привлечение дополнительных инвестиций усматривают в фактическом создании Зоны свободной торговли и Инвестиционной зоны АСЕАН (С. 77), но не упоминают здесь о сегодняшних проблемах в развитии этих инициатив.

Сложную задачу взял на себя Джим Слейтер (Jim Slater) в главе *ASEAN's Outward Direct Investment in Europe*. Анализ прямых инвестиций, которые совершаются за границей (*Outward Direct Investment* – ODI) фирмами из АСЕАН, труден потому, что недостает достоверных данных на эту тему. Данные, получаемые из стран АСЕАН, принципиальным образом отличаются от публикуемых Евросоюзом и касающихся происхождения FDI. Некоторые данные, например, объем прямых инвестиций из АСЕАН в различных секторах, доступны только в отношении Сингапура. Слейтер собрал данные из разных источников (национальных и международных) и упорядочил их в форме таблиц. Из анализа представленных данных следует, что, правда, ODI из АСЕАН

в Европе систематически возрастали с 1980 года, но они все еще составляют лишь незначительную долю в общих ОДИ из АСЕАН (Малайзия – 1%, Сингапур – 11%) (С. 99). Кроме данных и их анализа, автор обсуждает политику правительства по отношению к прямым инвестициям в пяти крупнейших государствах АСЕАН (Индонезия, Филиппины, Таиланд, Малайзия и Сингапур), а также старается выяснить, почему фирмы из стран АСЕАН осуществляют инвестиции в ЕС главным образом в секторе финансовых услуг и лишь в незначительной степени – в производство.

Вторая часть книги – *The Asian Financial Crisis* – содержит две главы, тематика которых касается причин и последствий азиатского кризиса 1997 года. Несмотря на то, что до сих пор появилось много интересных анализов, рассматривающих причины возникновения кризиса, те, с которыми мы знакомимся в рецензируемой книге, несомненно заслуживают внимания.

Франсуаз Никола (Francoise Nicolas) в главе *Financial Upheaval in the ASEAN Countries: a European Perspective* представляет хорошо известные экономистам две генерации моделей валютных кризисов. Теоретические умозаключения являются исходным пунктом для того, чтобы продемонстрировать различия и сходства между двумя кризисами: кризисом европейской монетарной системы (*European Monetary System – EMS*) в годы 1992-93 и азиатским кризисом. Правда, оба процесса были принципиально разными, однако автор, анализируя кризис EMS, старается вскрыть причины расширения азиатского кризиса (который начался в Таиланде) на другие страны региона (С. 124). Дальнейшая часть главы посвящена последствиям азиатского кризиса для Европейского Союза. Читатель может, например, узнать, каким образом азиатский кризис изменил структуру торговли между ЕС и государствами АСЕАН, как девальвация повлияла на конкурентоспособность азиатских товаров на европейском рынке – и как все это повлияло на состояние предприятий и рынок труда в ЕС. Автор констатирует, что влияние азиатского кризиса на ЕС в области торговли и прямых инвестиций было гораздо меньше, чем в финансовой сфере. Как можно узнать из текста, участие банков из ЕС в кредитовании деятельности азиатских предприятий и банков было большим, чем финансовых учреждений из США и Японии (С. 132). Причины такой ситуации Никола усматривает, в частности, в убеждении

финансовых учреждений из ЕС в том, что традиционные в этом регионе тесные связи между предпринимателями и правительством могут служить гарантией возврата взятых ими кредитов. Как утверждает автор, такая убежденность привела к тому, что европейские банки не провели тщательного анализа финансового положения субъектов, которым они предоставляли большие кредиты. В резюме автор критически оценивает слишком незначительную роль, сыгранную Евросоюзом при выхождении региона из кризиса. Таким образом, ЕС не воспользовался возможностью укрепить экономическое сотрудничество с Дальним Востоком, а также продвинуть евро в качестве международной валюты, в которой центральным банкам стоило бы хранить свои резервы.

В следующей главе – *The Banking Crisis and Competitiveness in the Asian Economies* – Диана Хочрейн (Diana Hochrain) предлагает свое объяснение причин азиатского кризиса. Она считает, что хотя FDI в значительной мере и помогли в экономическом развитии стран региона, но в то же время они привели к резкому увеличению кредитов и предложения денежной массы, что в результате привело к переоценкам на рынке недвижимости и на биржах. Основные причины кризиса Хочрейн усматривает в модели индустриализации, принятой азиатскими странами. Среди пороков этой модели автор перечисляет чрезмерную специализацию продукции, потерю конкурентоспособности, недостаточный трансферт технологии, излишнюю веру в зарубежные рынки сбыта. Внимания заслуживает критика условий помощи при выходе из кризиса, которые поставил государствам Юго-Восточной Азии Международный Валютный Фонд. Автор определяет эти условия как «драконовы» (С. 150), ибо они содействовали углублению кризиса в течение первых месяцев ввода плана МВФ и глубокой рецессии в первой половине 1998 года. Замечает, подобно автору предыдущей главы, слишком малую роль ЕС в помощи в выходе из кризиса азиатских стран, противопоставляя этот факт роли Соединенных Штатов в этом процессе. По мнению Хочрейн, благодаря реакции на азиатский кризис США упрочило свое политическое и финансовое доминирование в мире, а американские фирмы начали завоевывать новые рынки, на которых прежде доминировали японские предприятия.

Третья часть книги (*Microeconomic Perspectives*) посвящена избранным микроэкономическим аспектам отношений

ЕС–АСЕАН. Хотя и нелегко оспаривать важность затрагиваемых в этой части вопросов, но жаль, что здесь, например, не был проведен анализ значения торговли с ЕС для функционирования легкой или электронной промышленности в Юго-Восточной Азии.

В главе *Floating Market: Currency Crises and ASEAN Tourism Exports* Джим Ньютон (Jim Newton) анализирует положение в туристической промышленности стран АСЕАН за последние двадцать лет. В качестве *case study* автор выбирает Таиланд, что он обосновывает ролью, которую туризм играет в ее народном хозяйстве, а также тем фактом, что среди членов АСЕАН Таиланд и есть страна, которую посещает самое большое количество туристов. Анализ развития туристической промышленности в Таиланде представляется довольно исчерпывающим. Ньютон перечисляет факторы, которые способствовали развитию туризма в этой стране (такие, как большие инвестиции в строительство гостиниц, маркетинговые кампании, например, *Visit Thailand Year 1987*). На основании данных показывает зависимость между изменением курса бата к доллару и количеством людей, посещающих Таиланд, а также анализирует влияние туризма на платежный баланс, занятость и ВВП. Элементом, который может оправдывать помещение такой тематики в книге, посвященной Европейскому Союзу и АСЕАН, является значение европейских туристов для туризма в данном регионе. Цель, поставленная автором в начале анализа, – дать ответ на вопрос, как повлиял на туристическую промышленность в регионе азиатский кризис 1997 года (С. 161). Этот ответ мы найдем только в заключительной главе, в которой Ньютон констатирует, что туризм не поможет странам АСЕАН в выходе из кризиса. (С. 176). Однако столь категорическое утверждение может вызывать сомнения.

Следующая глава – *The Effects of Outward Direct Investment on the Performance of Locally-Controlled companies in Malaysia* – это настоящее исследование. Авторы Джим Слейтер и Исабель Тирадо Ангель (Jim Slater и Isabel Tirado Angel) стараются выяснить зависимость между ODI и финансовыми результатами малайзийских фирм, делающих инвестиции за рубежом. Малайзия была одним из первых государств АСЕАН, в котором правительство продвигало ODI. Главными целями такой стратегии были: рост продажи отечественных компонентов и сырья (для зарубежных филиалов малайзийских предприятий), доступ к новым рынкам и трансферт

технологии и знаний. В этой главе есть все, что должно содержать настоящее исследование. В начале статьи авторы представляют два источника данных, в которых по методологическим причинам приводятся разные результаты, касающиеся ODI. Очередной параграф – это обзор теорий (главным образом в форме ссылок на разных авторов), связанных с зависимостью между инвестициями и прибылью предприятия. Внимания заслуживает упоминание об исследованиях Михала Калецкого (Michał Kalecki), наиболее известного польского экономиста (С. 185). Результатом эмпирической перепроверки данных при использовании эконометрической модели является положительная корреляция, что склоняет авторов к выводу, что поощрения со стороны правительства для инвестиций за границей служат как росту уровня ODI, так и улучшению финансовых результатов инвестирующих предприятий (С. 191).

Значительно более интересный анализ мы находим в главе *The Distribution of Foreign Direct Investment in Vietnam: an Analysis of its Determinants*. Вьетнам, в котором только в восьмидесятые годы начался процесс экономической трансформации, является членом АСЕАН всего несколько лет, т.е. с 1997 г. Высоким экономическим ростом эта страна обязана политике экспорта, в которой очень большую роль играют прямые иностранные инвестиции (С. 199). Бернадетта Андреоссо-О'Каллаган и Джон Джойс (Bernadette Andreosso-O'Callaghan, John Joyce) весьма точно и с большой проницательностью анализируют FDI во Вьетнаме. Кроме представления данных, касающихся источников FDI, инвестиций в отдельных секторах и их расположения в регионе, авторы убедительно разъясняют факторы, влияющие на эти результаты. Особое внимание здесь посвящено исследованию детерминантов локализации FDI на территории Вьетнама. Выводы базируются на модели регрессии, причем следует подчеркнуть, что, в отличие от предыдущей главы, объясняющие переменные и уравнение регрессии здесь ясно описаны. Интерпретация полученных результатов представляется интересной. Авторы доказали, что создание особых экономических зон в регионах, которые ранее не были привлекательным местом для локализации FDI, не принесло ожидаемых результатов (С. 215). По-прежнему FDI размещается прежде всего в наиболее индустриализированных регионах Вьетнама, где проживают работники с более высокими квалификациями. Поэтому

различия в экономическом развитии между городскими и сельскими местностями увеличиваются.

Последняя часть книги (*The Future*) содержит главу *Enlargement to Include Formerly Centrally Planned Economies: ASEAN and the European Union Compared*. Ричард Помфрет (Richard Pomfret) проводит сравнительный анализ системной трансформации в обоих регионах и расширения ЕС на десять государств Центральной и Восточной Европы с расширением АСЕАН и принятием Вьетнама, Лаоса, Бирмы и Камбоджи. Автор указывает на наиболее существенные различия в обоих случаях расширения. Первое различие вытекает из степени интеграции: расширение ЕС, который является организмом с высокой степенью экономической и политической интеграции, за счет стран, находящихся на гораздо более низком уровне экономического развития, с большим участием сельскохозяйственного сектора в экономике, со слабой инфраструктурой, будет гораздо более трудным и дорогостоящим, чем расширение АСЕАН, где даже создание Зоны свободной торговли не было завершено. Второе различие следует из характера продукции в странах-кандидатах в ЕС и АСЕАН. Помфрет констатирует, что производство в странах Центральной и Восточной Европы является комплементарным для продукции нынешних членов ЕС, поэтому после принятия в ЕС новые члены будут специализироваться в производстве сельскохозяйственных продуктов, текстиля и некоторых стандартизованных промышленных товаров (С. 226). Однако, учитывая сельскохозяйственную политику и защиту производителей в отмирающих отраслях промышленности ЕС, трудно избежать предположения, что производители из новых стран-членов будут скорее конкурирующими, а не комплементарными для ЕС. Таких сомнений не вызывает утверждение, что новые члены АСЕАН будут потенциальными конкурентами для нынешних членов в продаже продовольственных, переработанных и низкопереработанных товаров на рынках за пределами Юго-Восточной Азии, а также в привлечении иностранных инвестиций. В выводах автор довольно скромно прогнозирует влияние расширения ЕС и АСЕАН на отношения между обеими организациями; несколько слов здесь следовало бы посвятить также вопросу будущего *Asia-Europe Meeting* (ASEM) в контексте появления новых участников диалога.

The European Union and ASEAN: Trade and Investment Issues – это интересная книга, которая несомненно привлечет читателя, желающего ознакомиться с состоянием экономических отношений Европейского Союза с АСЕАН. Из многочисленных таблиц и диаграмм можно почерпнуть информацию о взаимной торговле и инвестициях между обеими региональными организациями. Глубокий анализ авторов – специалистов в области макроэкономики, международных экономических отношений и экономических аспектов, касающихся Восточной Азии, – облегчает понимание многих факторов, влияющих на состояние взаимоотношений. Среди них – что совершенно верно – особое внимание уделено азиатскому кризису 1997 года.

Книга рождает две основные рефлексии. Во-первых, отношения ЕС – АСЕАН все еще характеризуются асимметричностью, т. е. Евросоюз играет значительно большую роль для АСЕАН, чем АСЕАН для Евросоюза. Во-вторых, все еще существует значительный потенциал для развития экономического сотрудничества ЕС – АСЕАН, чтобы Европейский Союз мог играть такую роль в Юго-Восточной Азии (а также в Китае и Южной Корее), как Соединенные Штаты и Япония. Будет ли использован этот потенциал? Каковы препятствия на пути к укреплению экономического сотрудничества ЕС – Восточная Азия? К сожалению, в обсуждаемой книге слишком мало данных, которые помогли бы читателю найти ответ на эти вопросы.

Артур Градзюк

Мариан Брода, *Проблемы с Леонтьевым*. – М.: МАКС Пресс, 2001. – 132 с.

*Другое дело – религиозная истина моей веры;
и другое дело – истина исторического взгляда.*
К. Леонтьев

Этот русский писатель относится к тому интеллектуальному типу, редкие представители которого способны отделить рациональное суждение по поводу происходящего вокруг и вероисповедные доводы. На протяжении всей книги польский исследователь, о чем бы ни шла речь при оценке богатого

творческого наследия К. Леонтьева, акцентирует именно это качество его натуры.

Прямым следствием этого качества, по мнению М. Броды, является, во-первых, разносторонность взглядов Леонтьева; во-вторых, отсутствие в них догматической жесткости; наконец, в-третьих (если и не самое важное, то едва ли не самое привлекательное) – открытость суждений, которые в ряде случаев противоречат одно другому отнюдь не по причинам недодуманности, а из-за отчетливо осознанного намерения *не додумывать за действительность*.

При всей определенности мнений (Леонтьев не делал уступок в убеждениях), он склонялся к уступкам там, где речь шла не о его *вере*, а об *истории* – о событиях, в которых он сам, какой бы ни была его личная позиция, являлся всего-навсего элементом некой общей картины, недоступной полному пониманию и потому естественно допускающей *разные* взгляды.

Такая редкая способность делала Леонтьева в глазах современников «загадкой», о чем напоминает М. Брода, качествами леонтьевского ума объясняя цели собственной работы:

«...характер предлагаемых здесь исследований ставит [...] задачу соединения *чуткости ко множеству*, разнообразию и изменчивости леонтьевских формулировок с попыткой целостного [...] подхода. [...] концепция Леонтьева может быть понята как [...] процесс перехода от попыток обоснования принципиального согласия религиозных, эстетических, нравственных, политических [...] и т.п. критериев [...] к углубляющемуся осознанию разнообразия, несоизмеримости и возможной конфликтности *разных порядков смысла*, к сознанию неизбежной ситуации выбора, а также связанной с ней необходимостью иерархизации между ними, не ведущей, однако, ни к какому “мягкому”, а тем более *окончательному* их синтезу» (С. 43)¹.

Одного этого наблюдения достаточно, чтобы признать рецензируемую работу новаторским явлением среди всего, что написано о К. Леонтьеве: польский ученый не только рассматривает многостороннее творчество русского мыслителя, но анализирует качества *мышления*, его *формальное содержание*, чем, насколько мне известно, в отношении Леонтьева до сих пор не занимались.

¹ Везде в цитатах курсив мой.

Приведя его суждение о несовместимости морали и политики (у каждой свои пределы), Брода комментирует: «Бердяев оценил это как неспособность Леонтьева к разрешению раскола между языческими и христианскими элементами. На мой взгляд, однако, такой дуализм свидетельствует прежде всего о полном понимании Леонтьевым *конфликтности между разными системами ценностей*, который – подобно Макиавелли на Западе Европы – *порвал с мифологическим по сути убеждением* во взаимном непротивостоянии всех истинных ценностей» (С. 42).

М. Брода не раз еще скажет о демифологизирующем даре Леонтьева – редчайшем, ибо куда чаще, даже у крупных мыслителей, сталкиваемся с *талантом мифологизации* – выдавать собственные представления за истинные. Вот чего, согласно анализу М. Броды, не было у Леонтьева, в мифологизации тот видел главную опасность мышления и потому был крайне самокритичен. В ряде случаев его самокритика, не всегда явная при беглом знакомстве с его сочинениями, подталкивала читателя к выводу о непоследовательности. Он же, как безупречно показал М. Брода, очень последователен, и противоречия в его суждениях о мире, человеке, России – результат противоречивости самих объектов, не сводимых к сколь угодно широкому логическому синтезу, и потому отнюдь не все противоречия *имеют решения*. И мораль, и политику подобный выход мог бы примирить – тот самый интеллектуальный (не нравственный!) компромисс, о котором говорилось выше.

В мысли К. Леонтьева М. Брода находит признание, что бытие не только существует посредством неразрешимых противоречий, но, не будь их, не было бы и его. Это напоминает «Теодицею» Лейбница: устройство Божьего мира, невзирая на неискоренимое зло, все же следует признать благим; кто думает иначе, тому не хватает воображения представить, сколь большим было бы возможное зло, устрани Господь зло существующее.

Близкий онтологический подход М. Брода предполагает у К. Леонтьева, впервые, насколько я в силах судить, причем его методика исследования противоречий русского философа выходит за рамки анализа выбранного предмета и может рассматриваться перспективной для изучения самого *феномена противоречий*. На это я обращаю внимание будущих читателей книги польского мыслителя, хотя теоретически их не должно

быть много: прекрасная вещь издана смехотворным тиражом в 200 экземпляров, разительно не соответствующим ни ее содержанию, ни ее значению, которое, впрочем, нисколько не зависит от тиража.

Сделаю, правда, оговорку. Утверждая, что понимание Леонтьевым бытия неразрешимо противоречивым делает его мысль «отдельной и оригинальной в русской традиции» (С. 44), М. Брода не учитывает следующего: аналогичными были взгляды Достоевского-художника. Моя оговорка не опровергает суждений Броды, я лишь уточняю, ибо нахожу, что взгляды К. Леонтьева – при всей их оригинальности, ярко и отчетливо сформулированной польским ученым, – все же не одиноки в национальной традиции.

Леонтьев, «констатируя неслучайный характер противоречивости и полярности разных аспектов мира и порядков смысла, имеющих целью этот мир объяснить, подчеркивая неизбежность драматического выбора и иерархизации, *делает такой выбор*» (С. 44).

Из такого понимания мироустройства вытекает: индивидуальный выбор невозможен, но вместе нельзя не выбирать. В этом состоит экзистенциальная неразрешимость человеческого существования, зависимая (впрочем, взаимно) от принципиальной неискоренимости зла, имеющего, согласно Леонтьеву, сущностную, а не временную природу.

Вновь признаю правоту Броды-аналитика: в русской мысли до Леонтьева никто не высказал этого с такой интеллектуальной артикулированностью, кроме Достоевского-художника. Выбор, делаемый в условиях его невозможности, и есть основание того «целостного единства» (С. 45) взглядов, которое у Леонтьева отрицали его критики.

«Целостным единством» подразумевается отсутствие односторонности, и тогда чуть ли не сам собой решается вопрос, немаловажный для любого русского мыслителя: кто он, Леонтьев, западник или славянофил? Похожим вопросом Брода начинает свою книгу: «В нем видели и православного ригориста, и христианского святого, и католика по духу, и еврейского пророка, и совершенно нехристианского мыслителя, демониста, и языческого вещуна» (С. 9).

Целостность умственного мира Леонтьева позволяет выявить, кто же он: ни то, ни другое, ни третье и т.д., но и то, и другое, и третье – в нем есть следы упомянутых взглядов, но потому, что он об этом думал, и знаки этих размышлений

читаются в его мысли – *знаки*, ибо содержание остается целостным, ни в какую из перечисленных сторон он не склонялся, удерживая исключительно трудное умственное равновесие, непривычное ни для его читателей, ни для национальной традиции в целом.

Да, подобный тип равновесия требует, вопреки всем внутренним кризисам (а то, может быть, благодаря им, закаляющим сильную волю, но ломающим слабую, толкающим ее к одностороннему выбору – кстати, еще один смысл леонтьевского убеждения в необходимости выбора при ситуации, когда выбор невозможен), не считать *правой* только одну сторону, не видеть истины в «или–или».

На этой точке зрения, редко реализуемой последовательно, систематически – и не только в отечественной традиции – стоял К. Леонтьев. С этой особенностью его мышления М. Брода соотносит пристрастие философа к понятию «форма», универсального при объяснении Леонтьевым процессов мировой жизни. Она, цитирует польский мыслитель русского, «есть выражение идеи, заключенной в материи (содержании)». «Форма есть *деспотизм внутренней идеи*, не дающей материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет» (С. 54).

«Деспотизм» – синоним некоей всемирной необходимости, исключаяющей произвол индивидуальной воли и вместе абсолютно не затрагивающей свободы человека. «Внутренняя идея» Леонтьева как раз предполагает наличие и – что очень важно – определение в понятиях противоречий, и не подлежащих разрешению, и необходимых для полноценной жизни явления. Найти между ними равновесие, а не решить в чью-либо пользу – такова задача мышления.

Есть еще одно обстоятельство, необходимое для понимания особенностей внутреннего мира К. Леонтьева, – М. Брода хотя и написал об этом, но, в отличие от других черт, об этой сказано как-то вскользь. Я имею в виду ярко выраженный в Леонтьеве *эстетический пафос*, в значительной мере ответственный за упоминавшееся равновесие, согласие понятий, сколько бы те ни были противоречивы. «Противо– речие» уже этимологически предполагает, что *одним* услышана *речь* другого, иначе отсутствует предмет возражения, и потому *другое* слово необходимо, чтобы прозвучало *мое*, отсюда и *согласие*, возможное, по мнению Леонтьева в изложении М. Броды (которое я разделяю), только в условиях противоречия,

а не совпадений. В результате достигается (как процесс, а не конечная цель) не одно теоретическое, но жизненное, онтическое равновесие, невозможное («материя разбегается») без и вне противоречий.

Упомянутый «эстетический пафос» объясняет пристрастие Леонтьева к форме, гармонии разнообразного и прямо-таки ужас от всего однообразного, существовало оно на самом деле или только вообразалось. Именно из-за эстетического пафоса нельзя причислить Леонтьева к какой-нибудь философской школе, политической или идейной группировке и, если кто-то находит у него (причем справедливо) черты одного мировоззрения, можно быть уверенным: найдутся черты другого, третьего и т.д.

Вот почему, во-первых, является заблуждением считать Леонтьева славянофилом или видеть в нем западника; относить его к православным ортодоксам или прозелитам католицизма. Всякое «или-или», повторяю, совершенно бесполезно при оценке умственного мира этого человека.

Во-вторых и учитывая только что сказанное, мне кажется глубоко верным следующее замечание польского исследователя: понятия «формы» и «материи» у Леонтьева близки аристотелевским, они для концепции Леонтьева «являются естественными, хорошо отвечающими ее духу, тяготеющему...не к платоновски-неоплатоническому, а *7 что в России является событием* – к аристотелевскому типу концепции действительности» (С. 55).

«Аристотелевское» в мысли Леонтьева, интерпретируемой М. Бродой, не означает отказа от «платоновского», напротив, одно не имело бы ценности без другого, для России подобная уравновешенность и впрямь событие. В «Очерке развития русской философии» (1922) Г. Шпет писал: «История русской философии как мысли, проникнутой духом утилитаризма, есть история донаучной философской мысли – история философии, которая не познала себя как философию свободную, не подчиненную, философию *чистую*, философию знание, философию как искусство»².

Эта метко схваченная черта неоднократно подтверждалась и до, и после книги Шпета, но уже к Леонтьеву она неприменима. Ничуть не отрицая колоссальной роли интуитивных прозрений (он этого и не мог сделать как художник), Леонтьев

² Шпет Г.Г., *Сочинения*. М.: Правда, 1989. – С. 53. Курсив автора.

был озабочен подходящими для них понятиями, философией как искусством. Согласно анализу М. Броды, опыт Леонтьева свидетельствовал, что в его лице отечественная мысль усвоила одну из добродетелей западной культуры – добродетель формы.

Как раз этого не было в мышлении русского человека (упомянутый труд Шпета переполнен примерами), и М. Брода подчеркивает, что такая особенность глубоко повлияла на тип русской умственной культуры: «Отсутствие промежуточной категории в духовности христианского Востока – чистилища – порождало явно дихотомические тенденции, приводившие к резкой поляризации, контрастам и противоречиям, причем очень интенсивным, вплоть до попыток полного их разрешения» (С. 18).

Попытки *окончательно решить* всегда вели к истреблению людей, стоящих за каждым из противоречий. Неумение, нежелание искать промежуток, то есть компромисс, без чего любое противоречие костенеет, вызывает ощущение безвыходности и тем самым провоцирует на самые крайние действия. Это нежелание/неумение найти точки соприкосновения вело к традиционной в России философской неразработанности и православной, и вообще онтологической проблематики; к беспомощности русского человека использовать в споре логические аргументы, в тех же случаях, когда нельзя было уклониться от объяснения царящих вокруг зла, неблагоустройства, находили причины во внешних условиях, не осознавая ни личной ответственности, ни общих закономерностей.

Для дихотомической системы мышления неприемлема мысль, что существуют нерешаемые проблемы, что мир и человек – тайна, требующая вдумчивости и скрупулезной работы, и потому всякий иной подход ведет к насилию вплоть до истребления того, о разгадке чьей тайны заявляют и за чье счастливое будущее в настоящем льют потоки крови.

М. Брода обратил внимание на противоречие, хорошо нам знакомое: «Русский радикальный нравственный максимализм [...] который не признает, в сущности, никаких компромиссов с земной (бренной) жизнью и который вынужден в то же время заключать такие компромиссы в ежедневной жизни, оборачивается порой – как ни парадоксально – смиренным поведением, которое отличается [...] амбивалентностью процесса переживания и оценки мира (например, либо

преклонение перед государством, либо отношение к нему, как антихристу)» (С. 18).

Ни такой психологии, ни такой гносеологии не было, следует из анализа польского ученого, у Леонтьева, и это давало повод критикам считать его нерусским мыслителем. С этим якобы нерусским взглядом (а на самом деле вполне русским, но только в течение столетий всегда остававшимся на периферии массового сознания) связана историческая концепция К. Леонтьева.

Если воспользоваться известным образом Тертуллиана («Но что общего между Афинами и Иерусалимом, между Академией и Церковью, между еретиками и христианами»³), Леонтьев ни за то, ни за другое, поскольку, излагает польский мыслитель русского, «всякое дело, доведенное односторонней последовательностью до каких-нибудь крайних выводов, не только может стать убийственным, но даже самоубийственным» (С. 41).

Отсюда важнейшее для Леонтьева отрицание во всемирно-историческом развитии конечной цели. «К ней можно будет вернуться только тогда, когда наша рефлексия выйдет за рамки органически понятой историчности и обратится в сторону эсхатологии» (С. 55-56).

Конечная цель, по Леонтьеву, – это прекращение истории, коль скоро устанавливается Царство Божье (таков любой эсхатологический проект). История и эсхатология несовместимы: одна развивается открыто и непредвидимо (и потому некоторые оценки Леонтьевым будущего оказались ложными); другая всегда ведет к известному финалу – в тупик. Это пророчество Леонтьева подтвердилось спустя несколько десятилетий в практике большевизма и нацизма. Оба режима стремились выйти из границ истории, «прекратить ее». Их крушение свидетельствует, что человечество предпочло исторический вариант; что, следовательно, идея Царства Божьего на земле если и не утратила своего зловредного очарования, то поблекла, отошла в область сектантской идеологии.

Гибельность эсхатологизма и предвидел Леонтьев и, в отличие от многих русских мыслителей, предпочел историю в качестве пути человечества, разумеется, будучи противником и любых форм мессианизма – одного из элементов

³ *Творения Тертуллиана*. СПб. – 1847. – Ч. 1-2. – С. 155.

эсхатологии, оставляющей миру всего два варианта: ГУЛАГ или Освенцим. Такова, исходя из практики XX столетия и всевозможных теорий, начиная с «Государства» Платона, любая модель закрытого развития истории.

Во взглядах на историю коренится, по сжатым и точным наблюдениям М. Броды, различие культурных типологий Леонтьева и Данилевского. Оба получили естественнонаучное образование, не исключено, что поэтому аналогизировали исторические процессы с органическими. Данилевский считал каждый культурный тип подобным организму: рождается, достигает расцвета, умирает. Славянский, возникший позже других, входит в эпоху расцвета, за ним будущее, тогда как романо-германский миновал свою высшую точку и движется к упадку.

Двумя признаками, согласно анализу польского исследователя, отличается подход Леонтьева. Во-первых, он признает взаимодействие разных культур, каждая из которых способна заимствовать у других, ибо культура – открытая система. Данилевский это отрицал, полагая культурно-исторические типы закрытыми. Во-вторых, Леонтьев считал, что хотя нации и государства – организмы, но совсем иного рода, нежели природные: «...Они суть идеи, воплощенные в известный общественный строй»⁴.

Леонтьев видел культурно-историческую жизнь более сложной, чем Данилевский, и это, полагаю, связано с тем, что среди всех качеств его натуры преобладал артистизм, скорее всего, он – в сочетании с ярким интеллектуализмом – не позволял упрощать. Как художник (его литературное творчество еще ждет подробного изучения) Леонтьев чувствовал, что человек не помещается в сколь угодно широкую логическую раму, хотя и не все в истории зависит от воли людей. В философской антропологии Леонтьева человек, по комментариям М. Броды, одновременно *творец* и *тварь* (С. 63), их взаимодействием объяснима логически непостижимая человеческая сущность, вследствие чего идея *конца истории* фиктивна. Так можно утверждать, если об участниках процесса либо все известно, либо (а то и вместе с этим) из представления о них исключена творческая природа и оставлена только тварная.

⁴ Леонтьев К. *Собрание сочинений*. –Т. 1-9.- М.- СПб., 1912-1913. – Т. 5. – С. 38. Далее цитируется в тексте с указанием тома и страницы.

Посему справедлива оценка польского мыслителя: «Мнение, согласно которому теория Леонтьева [...] безгранично и некритично использует метафизические сравнения, вытекающие из уподобления общества организму, следует признать слишком надуманным» (С. 64). И дальше замечательное, на мой взгляд, наблюдение – и о Леонтьеве, и о той стороне русского умственного мира, которая, увы, осталась на периферии национального исторического развития:

«Концепцию Леонтьева скорее следует понимать в качестве попытки [...] выработать позицию, избегающую обеих крайностей, обнаруживающихся в русской мысли: полного фатализма, пассивного подчинения мнимой необходимости, с одной стороны, а с другой – убеждения в полной свободе творения общественной действительности» (С. 64).

И еще один аспект леонтьевских историко-культурных взглядов не потерял смысла: Европа и ее будущность. Критика Леонтьевым современного Запада известна и в ряде случаев справедлива, некоторым его мнениям нечего возразить, а кое-какие прогнозы сбылись. Однако ныне очевидны и ошибки. Средний европеец все же не стал ни идеалом, ни тем более орудием всемирного разрушения, и это в полном согласии с леонтьевским же взглядом на человека как творца и тварь – замечательный, кстати, образец противоречия в логике Леонтьева, ее необходимое условие, без которого она, как ни странно, теряет убедительность.

Усреднение, выравнивание, роение испокон свойственны человеческому типу (учитывая, повторяю, его тварность), но столь же свойственно сопротивление усреднению и выравниванию. Борьба в человеке творца и твари составляет, говоря метафорически, содержание истории. Леонтьева можно упрекнуть в том, что извечное качество он связал с исторической ситуацией. Однако мой упрек слабеет, если взять в расчет леонтьевскую модель открытой истории, подтвержденную, попутно говоря, опытом современного Запада. Да, в Европе идет выравнивание – экономических, экологических, правовых норм, но, вопреки опасениям Леонтьева, не содействует ли этот процесс *повышению* человеческого типа, следовательно, *усилению*, а не ослаблению разнообразия, так пугавшего – и не напрасно – Леонтьева? Тот, правда, и в самой жесткой критике европейского мира предусмотрел для него *иные* варианты развития – редкое, повторяю, качество для русского мыслителя. М. Брода акцентирует на этом внимание:

«...У Леонтьева появляются попытки указания еще одной перспективы – гипотетической точки всеобщего насыщения однородностью и равенством *в глобальном масштабе, после которой начнется, возможно, обратный процесс развития*» (С. 76).

Отличительная черта исторических предчувствий Леонтьева состоит в том, что они лишены догматического характера и сам автор всегда склонен к компромиссу между своими взглядами и действующим развитием: «Другое дело – религиозная истина *моей веры*; и другое дело – истина *исторического взгляда*» (7, 522) – для русской мысли едва ли не уникальное качество. М. Брода чутко зафиксировал это:

«...Ритм возникновения, развития, а затем разложения и смерти общественно-культурных (и вообще всяких) организмов способен раскрыть свой второй аспект [...] омолаживающих мир циклических ритмов [...] Наиболее непосредственным образом это выражается в леонтьевском анализе третьей, последней фазы этой динамики, определяемой им как «смешение и повторное упрощение» [...] *готовящей, возможно, новый, возрожденный [...] облик будущего мира*» (С. 90-91).

Иными словами, что бы ни думал К. Леонтьев, он, согласно исследованию польского мыслителя, всегда оставлял миру шанс (иногда вопреки собственной вере!), и эта надежда, я полагаю, черпает из артистичности его натуры. Может быть, фигура А. С. Хомякова придет в этом случае на ум в качестве допустимого исторического предшественника.

Леонтьев постоянно отмечал ослабление религиозности современного ему мира, деформацию вероисповедных основ западного христианства и православия, а в более широком плане – десакрализацию человеческого существования. Эту черту его мысли отмечает и М. Брода: «Источник религиозной драмы его современности он усматривал в [...] слабеющей способности переживать *sacrum*, ощущать какое бы то ни было присутствие сверхчувственных аспектов действительности» (С. 98).

Согласие с оценкой польского ученого требует возражения Леонтьеву: таким положение было *всегда*. Ошибочно полагать, подобно одному из персонажей его романа, отцу Арсению, будто «раньше было много веры» (4, 329). Способность переживать *sacrum*, чувствовать и осознавать другой, нефизический пласт бытия столь же редкая, как художественный талант. Вера – дар, а не воспитание, и кому не дано, тому и не дастся. Религиозное потрясение, пережитое Леонтьевым в 1871 г.,

когда он, заболев холерой, от ужаса близкой смерти воззвал к Божьей Матери и, как потом писал В.В. Розанову, через два часа вдруг был здоров, – такое-то потрясение и есть дар.

Ни об окружавшей Леонтьева реальности, ни о жизни до или после него, включая нашу собственную, нельзя с уверенностью сказать: больше или меньше веры; слабеет или усиливается переживание *sacrum*. Полагаю, все (или очень многое) зависит от личного дара – и ныне, и присно, и во веки веков.

Да, окружающее менялось, и многое – Леонтьев прав – было (и, увы, будет и будет) отвратительно, ибо определяется тварной природой человека. Но в нем есть и творческая, всегда не согласная с любым наличным (тварным) порядком, принципиально не довольствующаяся сколь угодно совершенными материальными условиями и по этой причине – не побоюсь пафосных слов – взыскующая трансцендентного, осознание которого и делает человека человеком. Исходя из опыта современной жизни, могу констатировать: способность переживать *sacrum* не атрофирована, разве что не приобрела всеобщего характера, какого, впрочем, никогда не имела и не могла иметь – в противном случае это означало бы, что история кончилась.

Что же касается антрополатрии (обожествления человека), которой сопротивлялся Леонтьев как устойчивому направлению современной духовной жизни, то и здесь положение двойственно: не будь в человеке дара предчувствовать надматериальные слои собственной жизни, не было бы и религиозности, и обожествления. И покуда осознание «надмирности» не исчезло, за человечество можно не беспокоиться – этих «дрожжей» хватит, чтобы бродила вся масса, хотя угрожающие тенденции всегда сильны, зло никуда и никогда не исчезало из мира, а самым крайним выражением зла является вера в его искоренимость – возможность Царства Божьего на земле (эсхатология).

Признав трансцендентный план, нельзя полагаться на всеисилие рациональных сил, хотя одно не исключает другого: пусть посредством разума этот план не постижим, его наличие обозначается только с их помощью, и без «Афин» мы вряд ли узнали бы о «Иерусалиме».

К числу заблуждений Леонтьева – об этом М. Брода не говорит, я полагаю, он их разделяет – отношу распространное по сей день смешение двух понятий: индивидуализма

и эгоизма. Ни Леонтьев, ни его истолкователь их не отличают, между тем оба понятия принципиально несовместимы, и едва ли не все, что пишет Леонтьев об индивидуализме, необходимо адресовать эгоизму, например, свободный индивидуализм «губит все современное общество» (7, 169).

Губит его эгоизм – представление, согласно которому на мне одном сходятся все смыслы существования и ничто, кроме меня, не имеет значения. Формула эгоиста Я=Я, он всегда равен себе и потому не видит трансцендентности бытия.

Индивидуалист – полная противоположность. Для него не он сам, а человек как таковой – уникальная структура мира, таково любое НЕ-Я, и формула индивидуалиста Я?Я, он всегда чувствует собственную *недо*проявленность, *недо*выработанность и стремится эти *недо* преодолеть, поэтому всегда *недоволен* собой, в отличие от самоудовлетворенного эгоиста. Индивидуалист знает, что ему лишь предстоит *стать собой*, что в этом состоит его личная задача, для решения которой он родился. Он носит в себе глубокое чувство ответственности за этого непроявленного человека, ибо тот может и не проявиться – в этом состоит трагизм индивидуального бытия: человек кратковремен, и его непроявленность в земной жизни непоправима. Только здесь, в земном круге, индивидуалист надеется реализовать свою натуру, не принадлежащую, однако, целиком земной природе.

Эти соображения, тем не менее, не противоречат одному из выводов М. Броды: «Вопреки предъявляемым Леонтьеву обвинениям в аморальности, его жизненная и мыслительная концепция отличалась глубоким нравственным пафосом, убежденностью в обязанности сопротивления, отчетливо видимой также и в себе самом испорченности человека и культуры» (С. 101-102).

Разумеется: не может быть аморален тот, кто видит собственное несовершенство. Аморален эгоист, индивидуалист же, каким был К. Леонтьев в жизни и в мысли, существо нравственное. По этой причине он и не славянофил, и не мессианист – каждая из этих позиций не считается с уникальностью индивида. М. Брода вновь и вновь прав, когда, цитируя слова Н. Бердяева о Леонтьеве, что у того не было типично русской «жажды всеобщего спасения, спасения человечества и мира», прибавляет: «Ее заменял упор на спасение именно единицы, на лежащую на ней в связи с этим ответственность за

конкретные действия, а также отрицание [...] идеи равенства, загробной награды и кары» (С. 126).

Леонтьев-индивидуалист, действительно, убежденный противник равенства, это приводило его к отрицанию достоинств демократического общества, коль скоро то требовало равенства политических и гражданских прав, хотя именно такой тип общества наиболее благоприятен для индивидуалиста. По поводу таких леонтьевских «разночтений» М. Брода тактично заметил, что «похвалу непоследовательности Леонтьев не всегда достаточно последовательно относил к некоторым собственным мыслительным конструкциям» (С. 128).

Согласимся с этой характеристикой: недостаточно последовательно. Кое-что из написанного Леонтьевым о демократии не вызывает возражения: в самом деле, истина не определяется большинством голосов; свобода выбора часто граничит с личной безответственностью. Поэтому Леонтьев был безусловным сторонником жесткого, недемократического режима, способного поддерживать строгую организацию общества, отчетливые границы между сословиями, что, в свою очередь, гарантирует социальное разнообразие жизни. Демократия же разрушает четкие социальные структуры: уничтожает сословия, сводит на нет общественную роль личных достоинств, аристократизм и отдает власть мещанину.

Спору нет, и все же дальнейшая история демократических институций (как-никак, после Леонтьева протекло свыше ста лет) засвидетельствовала, что демократическая власть располагает ресурсами, которых Леонтьев не разгадал да которые и не были в его пору столь очевидны. «Русская публицистика – от Герцена до Горького, от Леонтьева до Бердяева – много издевавшаяся над мещанством Запада, никогда, к сожалению, с достаточной остротой не отделяла мещанства от демократии и тем самым много повредила правильному пониманию *духовной* сущности демократического принципа».⁵ Сущность же демократизма, полагал Степун, «в утверждении человеческого лица. Все остальное – только выводы из этого утверждения и его политические проекции».⁶ Поэтому главная задача политики – содействовать условиям, благоприятствующим

⁵ Степун Ф. *О человеке «Нового града», 1932 // Степун Ф.А., Сочинения.* -М.: РОСПЭН, 2000. – С. 450. Курсив автора.

⁶ Он же. *Мысли о России, 1928.* Цитир. издание. – С. 270-271.

утверждению лица, ибо в нем самом достаточно внутренних помех, но за это политика уже не отвечает.

Хотя речь шла не о политических взглядах К. Леонтьева, эта оценка приложима и к ним. М. Брода подтверждает: «Протест вызывает более чем нигилистическое отношение Леонтьева к проблеме политической свободы [...] Он не замечает, что в практическом смысле без негативной свободы, а также общественных и политических средств, обеспечивающих возможности ее реализации, трудно говорить о какой бы то ни было свободе» (С. 115).

И теперь последнее, об этом уже было сказано, и все же повторю, пользуясь словами польского ученого: «Если посмотреть на мыслительную концепцию Леонтьева в перспективе оппозиции “славянофильство-окцидентализм”, “Россия-Европа (Запад)””, можно обнаружить в ней попытку *принципиального выхода* из рамок их дихотомии, выработки точки зрения, трансцендентной в отношении каждого из ее членов [...] Леонтьев достиг возможности выхода за пределы типичной для русской мысли [...] оппозиции: древнерусская традиция – современная культура Запада» (С. 120-121).

В этом смысле он, безусловно, оригинальнейшая фигура национального умственного мира, поскольку осознал – и, подчеркиваю, благодаря польскому исследователю это обстоятельство не подлежит отныне отрицанию, – что испокон тянувшееся противостояние Россия-Запад если и было когда-то плодотворно, то лишь потому, что с каждым веком все глубже обнаруживало собственную фиктивность, тупик идеи избранного народа (в подобного рода сопоставлениях им всегда был русский), якобы предназначенного ввести остальное человечество в Царство Божье.

Анализ М. Броды проблем К. Леонтьева наводит мысль и о проблемах России: они не в том, чтобы соизмерять себя с Западом, вопрос давным-давно решен исторически – Россия есть одно из европейских государств. Ее проблема в том, чтобы, осознав это, избавиться от устаревших, истлевших, фатально катастрофических противопоставлений, не однажды губивших ее и ставивших на край бездны.

С этой точки зрения, согласно анализу М. Броды, содержание идей К. Леонтьева по сию пору актуально, и это печальный знак: предмет, по поводу которого мыслитель дал, кажется, вполне приемлемое и мотивированное решение, все еще остается не понятым. Его обсуждают в тех самых понятиях,

что уже в эпоху К. Леонтьева были очевидно нежизнеспособны. Следовательно, отечественная мысль (и питающая ее общественная практика, социальная среда), в сущности, *не изменилась*.

Но есть другая сторона в неоспоримой актуальности Леонтьева (с этого утверждения, кстати, М. Брода начал свою превосходную книгу) – она заключена в том, что он – решительный, страстный противник эсхатологического отношения к истории. Заголовок рецензии как раз подчеркивает несовместимость двух понятий, пусть в жизни человечества они шли бок о бок. Совсем не зря именно так названа последняя работа польского мыслителя о русском: «История и эсхатология. Философия К. Леонтьева и “загадка России”». Книга находится в печати, и я жду ее с особым нетерпением⁷: что же нового, переворачивающего представления, с которыми в России уже свыклись, как с погодой, откроет польский ученый после столь глубокого анализа идейного творчества К. Леонтьева в рецензируемой книге?

Надо ли напоминать ввиду вышесказанного, что Леонтьев не мог разделять (часто вопреки собственной вере) представлений о якобы особом пути России, ее исключительной исторической роли среди остальных народов? Не был Леонтьев и мессианистом – ни как мыслитель, ни как художник, и этим он тоже актуален сегодня, когда нет-нет и вспыхнут симптомы мессианской одержимости, многократно доказавшей – и в нашей, и в западной истории – абсолютную бесперспективность, вдобавок к тому, что на глазах всего лишь одного поколения людей рухнули два этномессианских замысла – большевистский и нацистский.

«Концепция Леонтьева, вырастая на православной почве, была [...] построена в оппозиции к радикальному эсхатологическому течению русской мысли, лежащему в основании распространенного стереотипа русской ментальности» (С. 124).

Эта оппозиция и делает мысль К. Леонтьева, всю его фигуру, получившую, благодаря книге М. Броды, подлинный, я полагаю, масштаб, современной, ибо соблазн этномессианского жребия (с его составными: убежденностью в

⁷ Данная рецензия была написана до выхода в свет последней книги М. Броды. См.: М. Broda, *Historia a eschatologia. Filozofia K. Leontjewa i „zagadka Rosji”*, Łydź 2002. *Прим. ред.*

преходящем характере зла, возможностью коллективного спасения и пренебрежением индивидуальной жизнью, всеединством, оправдывающим любые жертвы) все еще не изжит русским обществом.

Валерий Мильдон

Petr Kopecký, *Parliaments in the Czech and Slovak Republics. Party Competition and Parliamentary Institutionalization*. Ashgate, Aldershot 2001, p. 278.

Переход к демократии, которая чаще всего понимается как промежуточный период между недемократическим строем и окончательным упрочением демократии, является одной из важнейших исследовательских тем в общественных науках и вызывает огромный интерес аналитиков всего мира. В последнее время этот интерес направлен прежде всего на посткоммунистические страны Центральной и Восточной Европы, в которых процесс демократии носит чрезвычайно сложный характер и является очень интересной областью сравнительных исследований. При этом следует подчеркнуть, что опыт государств этого региона может внести коррективы в концепции и установки, разработанные в ходе исследований других регионов. Особенно это относится к исследованиям, посвященным тем переменам, которые в восьмидесятые годы произошли в странах Латинской Америки.

Среди посткоммунистических стран, в которых на рубеже восьмидесятых и девяностых годов был начат процесс демократизации общественной жизни, наибольший интерес вызывают государства, входящие в Вышеградскую группу. Решающую роль в этом сыграло несколько факторов, среди которых следует упомянуть относительно высокий уровень продвижения перемен, общность исторического опыта, схожесть стратегических целей внутренней и внешней политики, а также относительно свободный – по сравнению с другими посткоммунистическими странами – доступ к информации. Наличие этих факторов дает большие возможности проведения сравнительных исследований, которые наиболее полезны при определении закономерностей, управляющих

процессами перехода от недемократических систем к демократии.

О привлекательности стран Вышеградской группы как объекта компаративистских исследований свидетельствует огромное количество разработок, посвященных переменам, происходящим в этой части мира, которые были написаны уже в девяностые годы прошлого столетия. Среди них преобладают труды западных авторов, но с течением времени появились работы, авторами которых являются исследователи, аналитики и публицисты из Центральной Европы. Возникает вопрос – каковы различия между этими двумя группами разработок.

Наиболее характерным представляется одно различие. Учитывая более долгую традицию изучения процессов демократизации в Западной Европе и США, от западных авторов мы могли бы ожидать лучше разработанных теоретических установок, равно как и умения проводить гораздо более глубокий сравнительный анализ на фоне более широкого контекста. В свою очередь, работы авторов из тех стран, в которых осуществился или все еще осуществляется процесс трансформации от коммунистической системы к демократии, обогащены, как правило, их личным незаменимым опытом, а также знанием исторического, политического и общественного фона происходящих перемен. К наиболее редким относятся работы, объединяющие черты, типичные для обеих групп.

Одной из таких публикаций и есть представляемая здесь книга чешского политолога Петера Копецкого, которая является удачным примером попытки сочетать западный опыт в области сравнительного анализа политических систем с возможностями, какие дает непосредственное знание процессов, составляющих предмет разработки. Автор, ныне преподаватель политических наук университета в Шеффилде (Великобритания), интересуется процессом образования условий для демократических институтов в странах Центральной Европы с особенным учетом территории бывшей Чехословакии, откуда он сам родом.

В рецензируемой книге обсуждается процесс создания таких демократических рамок в Чешской Республике и Словакии, причем предметом подробного анализа является здесь процесс институционализации парламентской системы (*parlamentary institutionalization*), который проходил в обеих

странах параллельно и весьма схожим образом. Автор стремился не только показать механизмы создания, а затем функционирования обоих парламентов, но и проанализировать весь процесс перемен в политической системе, что в данном случае состояло в создании основ, а затем консолидации демократической системы (*democratic consolidation*).

Выбор Чешской Республики и Словакии следует оценить как весьма удачный, причем не только в отношении возможностей автора, какие дает ему происхождение и какими наверняка не располагали бы авторы из других стран. Решающее значение имеет здесь факт, что сравнительный анализ перемен, происходящих в обеих странах, создает особенно хорошие условия для выявления закономерностей, управляющих процессом перехода от коммунистической системы к демократической. Это потому, что данный процесс начался еще до распада чехословацкой федерации, а это означает, что общими были не только отправные точки, но и институциональные и социальные рамки перемен, которые произошли в период, предшествовавший возникновению независимой чешской и словацкой государственности. Значение этого факта нисколько не умаляют различия в историческом опыте, в национальных и политических традициях, существующие между обеими частями бывшей Чехословакии. Об этих различиях часто упоминает и сам автор, подчеркивая в выводах, что именно они оказали решающее влияние на то, что процесс трансформации всей политической системы в Чешской Республике проходил иначе, чем в Словакии, и что в обеих странах он привел к разным результатам.

Сформулированные выводы предваряет глубокий и всесторонний анализ функционирования парламентов в обеих странах с особым учетом их первого и второго созыва после распада федерации (1992–1998). Это ограничение, частично вытекающее из сложности представляемой темы, частично вызванное необходимостью сохранить должную дистанцию к происходящему, является единственной серьезной погрешностью разработки, ибо не позволяет провести анализ тех перемен, которые произошли в функционировании словацкой политической системы после выборов 1998 г. Правда, П. Копецки замечает вскользь, что такие изменения произошли, и предвидит их наиболее вероятные последствия для всего процесса трансформации в Словацкой Республике, но основные выводы, касающиеся институционализации

парламентской системы в обеих странах, сформулированы на основании анализа предшествующего периода.

Предложенный в работе анализ функционирования обоих парламентов очень проникновенен и представляет их не столько как правовые институты, но скорее как арены, на каждой из которых другие субъекты, такие, например, как политические партии или группы интересов, воздействуют друг на друга. Автор воспринимает законодательные органы как очень важные элементы новой демократической политической системы, охватывающей широкий спектр институтов государства, политических организаций, а также правовых норм и неформальных принципов поведения. Вокруг этих элементов системы ведется дискуссия о самых важных проблемах, связанных с переходом от тоталитаризма к демократии.

Книга анализирует функционирование парламентов, показывая их взаимоотношение с окружением (например, электоратом, другими государственными органами), а также их внутреннюю организацию и принципы действия (например, роль отдельных депутатов, парламентских клубов или комиссий). Интересно то, что, кроме источникового материала, который чаще всего встречается в таких разработках, как правовые акты, официальные документы и пр., в работе использованы также интервью, которые в 1993–94 гг. автор провел с важнейшими деятелями чешской и словацкой политической жизни. Не переоценивая их значения и пригодности для анализа функционирования парламентской системы обеих стран, можно рискнуть сказать, что они обогащают наши знания об этой проблематике одним существенным элементом – как видят эту систему ее создатели и непосредственные соучастники, в данном случае главным образом депутаты.

При оценке уровня трансформации и консолидации данной политической системы иногда трудно различить явления, типичные для преобразований, происходящих в рамках процесса демократизации, от явлений, характерных для уже упрочившейся демократии, иначе говоря, консолидированной. Это вытекает из недостатков теоретической базы, на которой основывается относительно новая в политических науках концепция демократической консолидации (*democratic consolidation*). Ключевую роль в этой концепции играют такие понятия, как переход к демократии (*transition to democracy*), консолидация и институционализация (*institutionalization*), что

подтверждает факт, что с ними можно встретиться почти в любой западной работе, посвященной процессам демократизации. В работе П. Копецкого дело обстоит не иначе.

Вся первая часть книги посвящена анализу упомянутых выше понятий, причем автор исследует не только их значение, но и существующие между ними отношения и взаимозависимости. На этой основе он создает рабочие дефиниции, которые затем находят применение в анализе конкретных явлений, происходящих в чешской и словацкой парламентской системе, а также в их ближайшем и отдаленном окружении. Этим проблемам посвящены следующие главы – от второй по шестую.

Во второй главе автор сосредотачивается на обсуждении процесса создания парламентской системы в той форме, в которой она существует ныне в Чешской Республике и Словакии. При этом он исходит из предпосылки, что для понимания сути этого процесса необходим анализ состояния, предшествующего падению коммунистической системы, и особенно институциональных решений, существовавших в прошлом. Предметом анализа является также влияние, какое традиция чехословацкого парламентаризма оказала на функционирование законодательных органов в Чешской Республике и Словакии.

Третья глава посвящена институционализации парламентов в обеих странах. Под этим П. Копецки понимает «процесс образования формальных и неформальных норм поведения, процедур и образцов поведения, благодаря которым парламент обретает способность влиять на форму и функционирование всей политической системы» (С. 206). Особое значение приобретают здесь два вопроса: каков характер отношений между парламентом и электоратом, который выбирает его в ходе демократических выборов, а также каким образом формируются отношения между отдельными депутатами и их избирателями. Автор подчеркивает, что ключевую роль в обоих случаях играют политические партии – один из важнейших элементов демократической системы.

Взаимоотношениям парламента и исполнительной власти посвящены четвертая и пятая главы. В первой из них П. Копецки анализирует характер отношений между парламентами и правительствами в Чешской Республике и Словакии, исходя при этом из модели, созданной политологом Энтони Кингом (Anthony King). Эта модель позволяет определить влияние всех

соотношений, происходящих между правительством как органом исполнительной власти и парламентом, которым правительство назначается и контролируется, на ход и степень продвижения всего процесса институционализации парламента. В пятой главе освещается роль президентов в отношениях между законодательной и исполнительной властью, а также их влияние на ход политических процессов.

Шестая глава посвящена внутренней организации и принципам действия обоих парламентов, будучи своего рода дополнением к размышлениям, представленным в четвертой главе, которая показывает, до какой степени в отношениях между парламентом и правительством в обеих странах доминируют политические партии. Последствия этого факта для внутренней организации парламента и роль партий (парламентских фракций) в законодательном процессе – это основные вопросы, обсуждаемые в данной главе. Автор анализирует три проблемы, сопутствующие действиям, которые предпринимаются партиями и другими группировками, представленными в парламенте. Первой из них является их внутреннее единство (*cohesion*), понимаемое как та область, в которой члены данной партии мотивируются к действиям, направленным на осуществление совместных целей. П. Копецки отличает единство от дисциплины (*discipline*), которая включает также систему санкций, задачей которых является принуждение к этому единству. Последний вопрос, затрагиваемый в этой главе, – раздробление (*fragmentation*) партийной системы, существующей в обеих рассматриваемых странах (С. 171–172).

Здесь следует отметить, что, анализируя внутреннюю структуру обоих парламентов, автор обходит вниманием те учреждения, задачей которых является обеспечение правильного функционирования законодательных органов с технической и организационной стороны, а также по существу. Речь здесь идет о таких субъектах, как – в чешском парламенте – Канцелярия Палаты Депутатов и Канцелярия Сената, а в однопалатном словацком парламенте – Канцелярия Народного Совета. По нашему польскому опыту известно, что организационная структура и принципы действия субъектов такого типа способны существенно влиять на качество работы парламентариев, а следовательно – также на функционирование всей политической системы.

В седьмой главе подводятся итоги материала, представленного в предыдущих главах, а также дается сравнительный анализ процессов институционализации парламентской системы и демократической консолидации. Выводы представлены в двух подглавах. В первой из них освещаются наиболее существенные установки, касающиеся институционализации парламентов в Чешской Республике и Словакии. По мнению автора, этот процесс проходил иначе в каждой из обсуждаемых стран и в каждой из них привел к иным результатам. Он считает, что в отношении Чешской Республики можно говорить о высоком уровне институционализации парламентской системы, доказательством чего является, в частности, тот факт, что его функционирование регулирует ряд формализованных и неформализованных норм и принципов поведения, которые друг друга дополняют. Высокий уровень институционализации чешской парламентской системы подтверждает взаимодействие между правящим лагерем и оппозицией, которая имеет реальное влияние на действие парламента. В Словакии многие факторы привели к тому, что уровень институционализации парламентской системы оценивается довольно низко. Об этом свидетельствует как преобладание неформализованных норм и принципов процедур над формализованными, небольшое влияние оппозиции на функционирование парламента, так и факт, что его организационная структура является недееспособной и очень податливой на изменения.

Во второй подглаве автор представляет свои выводы на тему консолидации политической системы в Чешской Республике и Словакии. Также и в этом случае результаты сравнения говорят в пользу первой из этих стран. По мнению Копецкого, демократия в Чешской Республике уже полностью консолидировалась, что подтверждается следующими фактами: структура горизонтальных и вертикальных зависимостей между институтами, входящими в состав политической системы, упрочена и принята ее остальными участниками (в том числе и политическими партиями), правовые и внеправовые нормы, регулирующие функционирование этой системы, соблюдаются, а разногласия, возникающие в элитах, разрешаются в соответствии с этими нормами. С этой точки зрения события в Словакии развивались в несколько ином направлении. По мнению П. Копецкого, до окончания периода, который является предметом анализа, то есть до 1998 года,

демократия в этой стране еще не подверглась консолидации. Это подтверждает ряд явлений, таких, как низкий уровень одобрения норм и принципов, регулирующих горизонтальную взаимозависимость между государственными учреждениями, а также бесконечные споры о содержании и объеме норм, регулирующих функционирование политической системы.

Представленные выводы трудно считать каким-то особенным открытием, но в то же время нельзя отказать им в точности и меткости. Однако их основным достоинством является то, что они были сделаны на основе глубокого и всестороннего сравнительного анализа, проведенного на основании богатых и убедительных источников. Благодаря столь основательным фундаментам представленные выводы следует считать обоснованными и хорошо документированными. Факт, что подобные тезисы формулировались и ранее, причем чаще всего на основании гораздо более слабого анализа, не должен повлиять на нашу оценку рецензируемой работы, тем более, что ее автор дает нам нечто большее, чем просто диагноз фактического положения вещей. Автор предпринимает попытку ответить на вопрос – каковы причины различий в функционировании политической системы в Чешской Республике и Словакии. Целесообразно внимательнее присмотреться к тезисам к этому вопросу, выдвигаемым П. Копецким.

Согласно автору, процесс построения новой демократической политической системы в Словакии проходил в гораздо более сложных условиях, чем в остальных странах Центральной Европы. Словацкая Республика как единственная страна в этом регионе была вынуждена осуществить одновременно четыре задания, имеющие фундаментальное значение для упрочения демократии. Кроме экономической и политической реформы, сюда входили также задачи, связанные с необходимостью создания структур независимого государства и завершения процесса, который П. Копецки определяет как создание народа (*nation-building*). На практике это означало необходимость реализации задач, которые в других странах либо уже были выполнены, либо их выполнение проходило в совершенно иных условиях.

Нельзя утверждать, что оба государства, которые образовались в результате распада чехословацкой федерации, должны были заново создавать свои институты. Только с формальной

точки зрения задание такое было одинаковым в Чешской Республике и Словакии. Центр бывшей федерации (то есть Прага) просто в один прекрасный день стал столицей нового чешского государства, сохраняя при этом все институты, включая административно-техническое *know-how*, необходимое для их правильного функционирования. Следует учитывать и исторический опыт, благодаря которому у чехов были гораздо лучшие, чем у словаков, условия для создания институциональных рамок нового государства. Кроме многовековой традиции собственной государственности, которая культивировалась также в те времена, когда чешские земли входили в состав габсбургской монархии, создатели независимого чешского государства могли почерпнуть опыт из процесса созидания чехословацкой государственности после 1918 года.

Приступая к созданию независимого государства, словацкие политики по разным причинам не могли или не хотели воспользоваться чешским опытом. К тому же, опыт функционирования марионеточного словацкого государства, образованного в годы II мировой войны, по совершенно очевидным причинам не мог быть использован в процессе строительства демократических основ новой словацкой государственности.

По сравнению со своими вышеградскими соседями, Словакия имеет наиболее сложную этническую структуру и относительно низкий уровень политической культуры, причем, что тем более интересно, – наблюдаемый особенно на уровне элит. Сочетание этих двух факторов объясняет, почему основным источником политической поляризации словацкого общества являются конфликты на этнической или культурной почве, а не те, источником которых являются социальные или экономические процессы, как это имеет место в Чешской Республике.

По мнению Копецкого, представленные различия подтверждают более общую закономерность, в соответствии с которой наибольшая угроза для демократии – не в конфликтах, вытекающих из перераспределения благ в масштабах страны, а в напряженности на национальной почве. Но дело здесь не в простой зависимости между степенью дифференцированности национальной структуры и появлением конфликтов на национальной почве, а скорее в проблемах с самоидентификацией народа. Проблемы такого рода чаще всего обнаруживаются в спорах, кто лучше представляет национальные интересы в конфронтации с интересами других народов, причем это могут быть как народы, проживающие в других государ-

ствах, так и меньшинства в собственной стране. По мнению автора, это всегда оказывает деструктивное воздействие на функционирование политической системы, ибо ведет к постоянному оспариванию действующих в ней правил и норм поведения. Именно такое явление можно было наблюдать в Словакии в девяностые годы.

Представленные тезисы – это лишь часть выводов, содержащихся в книге П. Копецкого. Несомненно некоторые из них уже потеряли свою актуальность, другие следовало бы подвергнуть перепроверке, основываясь на знании явлений и процессов, которые произошли уже после того периода, который был предметом разработки. Особенно это относится к переменам, которые произошли в Словакии после выборов 1998 г. Их характер и направление позволяют предположить, что словацкая политическая система постепенно, но стабильно будет приближаться к системам, существующим в остальных странах Центральной Европы.

Эта констатация ни в чем не умаляет достоинств рецензируемой книги, которая еще в течение длительного времени должна считаться одним из основных источников знаний о процессе трансформации и консолидации политических систем, действующих на территории бывшей чехословацкой федерации. К ее достоинствам следует также отнести способ представления автором трудного и сложного исследовательского материала. В книге мы находим четкие и логичные умозаключения, которые дополняются данными, представленными в многочисленных таблицах и сопоставлениях. Выводы, касающиеся отдельных вопросов, представлены в виде отдельного резюме, которое находится в конце каждой главы, а важнейшие тезисы, касающиеся функционирования политической системы в обеих странах, представлены в конце разработки в виде четкого сопоставления. Все сказанное позволяет рекомендовать книгу П. Копецкого всем тем, кто интересуется судьбами народов, проживающих на территории бывшей чехословацкой федерации, а также исследователям, занимающимся вопросами демократизации и трансформации политических систем в широком понимании этого слова.

Рафал Моравец

Artur Domosławski, *Świat nie na sprzedaż. Rozmowy o globalizacji i kontestacji*, Wydawnictwo "Sic!" Seria Stanowiska/Interpretacje, Warszawa, 2002, s. 243.

Артур Домославски – известный публицист и репортер, пишущий в основном для «Газеты Выборчей». Интервью, которые публиковались в весенних номерах воскресного выпуска газеты, и составляют «ядро» книги *Мир не на продажу* – первой польской книги о мировом антиглобалистском движении. Сам автор говорит, что она является сборником бесед и текстов о том, что не удалось и что в мире не так (С. 8), а также что книга появилась в результате удивительно положительного открытия, каким стала для него встреча с группами антиглобалистов во время II Всемирного общественного форума в феврале 2002 в Порто Алегре. Как это зачастую случается с книгами, написанными репортерами, *Мир не на продажу* состоит из нескольких самостоятельных частей, каждая из которых может функционировать как отдельное целое.

В самом начале книги читатель найдет краткое вступление, в котором автор не столько дает определение движения антиглобалистов, сколько старается показать недопонимание, упрощения и недоразумения, сопутствующие восприятию этого явления. Он выражает убеждение, что в результате лаконичных и неполных сообщений в ТВ и других СМИ о движении, названном «антиглобалистским», произошло смешение понятий, картина получилась весьма неясной и размылись его самые существенные идеи. Таким образом, только немногие видят в демонстрациях «антиглобалистов» проявление усиливающегося во всем мире неудовлетворения, фрустрации и ощущения отчужденности (С. 6). Протестующие воспринимаются как изоляционисты националистического толка, которые не приемлют капитализма и рынка как такового, тогда как для большинства из них главнейшим является не ликвидация рынка, не протест против глобализации, а «иной» рынок и «иная» глобализация (С. 6). Дополнительным фактором, который – особенно в Польше – мешает разобраться в сути нынешних протестов, является, по мнению автора, их идеологическая насыщенность, навязывающая схемы со времен реального социализма. Поэтому протесты «антиглобалистов» ассоциируются с «заварухами» парижского мая 68 года, терроризмом РАФ-а и Красных бригад, а также со сторонниками всемирной революции. Все это содействует схематичному, стереотипному восприятию

как антиглобалистов, так и исповедуемых ими идей, мешая заметить действительные проблемы современного мира (С. 7).

Следующая часть – это сделанная в репортерско-хроникерском стиле запись впечатлений, наблюдений и размышлений о пребывании в Порто Алегре во время происходящего там II Всемирного общественного форума. Посредством чередующихся образов автор старается передать настроение солидарности, царящее во время семинаров, конференций и мастер-классов, часто же цитируемые им случайные высказывания участников Форума должны проиллюстрировать множество течений, скрывающихся под названием «антиглобализма». Как подчеркивает автор, каждый из его собеседников представляет иную среду, другие проблемы и исповедует иные взгляды, но объединяющим их всех элементом является демонстрация недовольства и несогласия. Для несправедливого мира, для дискриминации, для поведения богачей, обрекающих бедных на прозябание и для власти политиков, которые заботятся только о немногих и смотрят сквозь пальцы на то, как обижают многих. Все собравшиеся в Порто Алегре боролись за новый, лучший мир. Среди них есть люди, которые мечтают действовать во вселенских масштабах, но есть и такие, кто на первый взгляд борется за не столь существенное, за изменение своего окружения, своего маленького мира (С. 31). По мнению автора, именно они изменяют мир. Наиболее интересными в этой части книги представляются размышления об антиамериканизме в движении антиглобалистов, особенно в контексте событий 11 сентября 2001 г. Враждебное отношение к Соединенным Штатам в этих кругах проявляется часто и в резких формах, однако, как оказалось, самые известные участники Форума единогласно отмежевались от этой вражды, подчеркивая, что критика относится к правительству США и его политике, а не к самим американцам (С. 25), многочисленная группа которых приехала на Форум.

Очередную часть книги составляют беседы автора с людьми, признанными лидерами движения антиглобалистов. Это Мануэл Васкез Монтальбан – испанский писатель и публицист, Лори Уоллек, которая организовала протест против WTO в Сиэтле и является лидером организации *Public Citizens Global Trade Watch*, Игнасио Рамонет – шеф «*Le Monde Diplomatique*» и инициатор АТТАС, ассоциации в пользу налогообложения оборотов с капитала, Адольфо Перес Эски-

вел – аргентинский правозащитник, а также Октавио Янни – известный латиноамериканский социолог. Всем собеседникам задавались те же вопросы: каковы источники движения антиглобалистов, какова сегодняшняя структура движения, существуют ли внутренние противоречия, что является предметом контестации, какова ее символика, вопросы о политической, экономической и социальной форме нового мира, об отношении к Кубе Фиделя Кастро, об обоснованности происходящей в ту пору войны в Афганистане и, наконец, об антиамериканизме среди антиглобалистов. Полученные ответы благодаря своему разнообразию и мнимым лишь совпадениям в некоторых случаях подчеркивают основное свойство движения антиглобалистов – его сложность, которая ускальзывает перед любыми попытками дать его дефиницию или же попытками характеризовать это явление как нечто единое. Читая высказывания отдельных собеседников, можно легко сделать вывод, что, несмотря на всемирные кампании протеста, совместные инициативы и символику, мы всё еще не можем говорить о едином движении антиглобалистов. Учитывая различия в приоритетах отдельных групп протеста, единого глобального движения такого рода, вероятно, никогда не будет. Эту точку зрения разделяет также автор, небеспричинно стремившийся получить в каждом интервью ответ на вопрос, каким видит будущее его собеседник, нередко спрашивая его без обиняков – не является ли эта картина очередной утопией.

За серией интервью следуют два портрета: *Повстанца*, то есть вождя восстания сапатистов в мексиканском штате Чиapas – вице-коменданта Маркоса, и *Мыслителя*, то есть Хозе Сарамаго – португальского писателя, книги которого были признаны литературной формой антиглобалистского протеста. Эссе, представляющие обоих героев, читаются очень легко, но они резко отличаются от остальных частей книги. Если образный, метафорический стиль был весьма оправданным в части, представляющей настроение в Порто-Алегре во время Форума, то при представлении конкретных людей и их деятельности он кажется не совсем удачным. Нагромождение образов и сравнений приводит к тому, что содержание расплывается, после прочтения этих страниц возникает вопрос – что же, собственно говоря, было целью автора, на каком элементе этого калейдоскопа мы должны сосредоточить внимание. Но эти вопросы остаются без ответа. Складывается впечатление,

что эти два эссе появились здесь совершенно случайно, по чистому совпадению, что автор не позаботился о том, чтобы придать своей книге единый характер.

В последних двух частях (озаглавленных *Отдельная точка зрения 1* и *Отдельная точка зрения 2*) автор возвращается к формуле интервью-беседы, приводя тексты проведенных ранее интервью с испанским философом, лидером движения против терроризма ЕТА – Фернандо Саватером, а также с польским журналистом и писателем Рышардом Капусьцинским. По замыслу автора, эти беседы должны продемонстрировать иное отношение к вопросам, которые затрагиваются протестующими против сегодняшней формы глобализации (С. 9). Фернандо Саватера интересует вопрос свободы и ответственности личности в мире, в котором одна за другой исчезают непреодолимые границы. Новые вызовы XXI века, по его мнению, повлекут за собой необходимость организовать мир заново, под руководством наднациональной и надгосударственной всемирной власти (С. 178). В свою очередь Рышард Капусьцински рассматривает события 11 сентября в контексте теории конца истории, столкновения цивилизаций, а также усиливающейся контестации глобализующегося мира. Глобализацию как таковую он характеризует как явление, имеющее три уровня: официальный, связанный со свободой трансферта капитала и информации, с транснациональными корпорациями и массовой культурой; подпольный, охватывающий международную преступную деятельность, мафию, массовую торговлю оружием и наркотиками, а также финансовые преступления; социальный, связанный с понятием международного сообщества, которое реализуется благодаря деятельности международных неправительственных организаций, транснациональных общественных движений, сект и т.п. Уровень собеседников определяет ценность этих текстов, однако то, что их поместили именно в этом томе, может вызывать сомнения. Нет убедительного обоснования их присутствия здесь, как нет и объяснения, чем вызван выбор именно этих двух собеседников. Здесь снова складывается впечатление, что тексты оказались в книге только потому, что уже были написаны и каким-то образом соотносятся с вопросом глобализации.

Подводя итоги, можно сказать, что *Мир не на продажу* не может не вызывать интереса. И тематика, и публицистический подход к ней – за исключением мест, в которых изобилие

метафор придает тексту излишнюю патетичность, - являются неоспоримым достоинством книги и привлекают к ней, несомненно, многих читателей. Конечно, по сути дела, те же самые черты могут восприниматься отрицательно - здесь слишком много впечатлений и субъективных оценок автора, слишком мало попыток однозначно определить или систематизировать движение антиглобализации. Но было ли это действительно возможным и нужным в публикации такого рода - в конце концов Артур Домославски - публицист, который ни в коей мере не претендует на звание теоретика и автора вузовских учебников. И, пожалуй, учитывая свежесть проблематики антиглобалистского движения, он избрал единственно возможную формулу для описания этого явления - для теоретизирования время еще не подошло. Это подчеркивает и сам Домославски, который во вступительном слове пишет, что его книга - приглашение к разговору, который - что совершенно очевидно - не только не заканчивается, а, наоборот, лишь начинается (С. 9)

Большинство рецензий содержит бессмертную формулу - «эту книгу можно рекомендовать...», после чего, как правило, перечисляются специфические социальные или профессиональные группы. Если же говорить о книге *Мир не на продажу*, ее можно рекомендовать *всем, кого интересует современный мир*.

Малгожата Квятковска